

**КОРНЕЙ
ЧУКОВСКИЙ**

Из воспоминаний



Санкт-Петербург

Чехов

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Он был гостеприимен, как магнат. Хлебосольство у него доходило до страсти. Стоило ему поселиться в деревне, и он тотчас же приглашал к себе кучу гостей. Многим это могло показаться безумием: человек только что выбился из многолетней нужды, ему приходится таким тяжким трудом содержать всю семью — и мать, и брата, и сестру, и отца, — у него нет ни гроша на завтрашний день, а он весь свой дом, сверху донизу, набивает гостями и кормит их, и развлекает, и лечит!

Снял дачу в украинском захолустье, еще не видел ее, еще не знает, какая она, а уже сзывает туда всяких людей из Москвы, из Петербурга, из Нижнего.

А когда он поселился в подмосковной усадьбе, его дом стал похож на гостиницу. «Спали на диванах и по несколько человек во всех комнатах, — вспоминает его брат Михаил, — ночевали даже в сенях. Писатели, девицы — почитательницы таланта, земские деятели, местные врачи, какие-то дальние родственники», званные и незванные, толпились у него по целым неделям.

Но ему было и этого мало.

«Ждем Иваненко. Приедет Суворин, буду приглашать Баранцевича», — сообщал он Нате Линтваревой из Мелихова в девяносто втором году.

А заодно приглашал и ее. Причем из следующих его писем оказывалось, что, кроме этих трех человек, он пригласил к себе и Лазарева-Грузинского, и Ежова, и Лейкина и что у него уже гостит Левитан!

Восемь человек, но и это не все: в доме постоянно ютились такие, которых даже не считали гостями: «астрономка» Ольга Кундасова, музыкант Мариан Семашко, Лика Мизинова, Мусина-Пушкина (она же — Дришка, она же — Цикада), какая-то Лесова из Торжка, какая-то Клара Мамуна, друзья его семьи, завсегдатаи и великое множество случайных безыменных людей.

От этого многолюдства он, конечно, нередко страдал. «С пятницы Страстной до сегодня у меня гости, гости, гости... и я не написал ни одной строки». Но даже это не могло укротить его безудержной страсти к гостям. В том же письме, где помещена эта жалоба, он зовет к себе ту же Кундасову, в следующем — Владимира Тихонова, в следующем — Лейкина, в следующем — Ясинского, а из следующего мы узнаем, что у него гостят и Суворин, и Щепкина-Куперник, и таганрогская Селиванова-Краузе!

Звал он к себе всегда весело, бравурно, игриво, затейливо, словно отражая в самом стиле своих приглашений атмосферу молодого веселья, которая окружала его.

«Ну-с, сударь, — писал он, например, редактору „Севера“, — за то, что Вы поместили мой портрет и тем способствовали к прославлению имени моего, дарю Вам пять пучков редиски из собственного парника. Вы должны приехать ко мне (из Петербурга! за шестьсот верст! — К. Ч.) и съесть эту редиску».

И вот как приглашал он архитектора Шехтеля:

«Если не приедете, то желаю Вам, чтобы у Вас на улице публично развязались тесемки (белья. — К. Ч.)...»

Таково же его приглашение водевилисту Билибину:

«Вы вот что сделайте: женитесь и валяйте с женой ко мне... на дачу, недельки на две... Обещаю, что Вы освежитесь и великолепно поглупеете...»

Дело здесь не в радушии Чехова, а в той огромной жизненной энергии, которая сказывалась в этом радушии.

Зазывая к себе друзей и знакомых, он самыми горячими красками, как бы пародируя рекламу курорта, расписывал те наслаждения, которые их ожидают:

«Место здоровое, веселое, сытое, многолюдное...», «Теплее и красивее Крыма в сто раз...», «Коляска покойная, лошади очень сносные, дорога дивная, люди прекрасные во всех отношениях», «Купанье грандиозное».

Приглашал он к себе очень настойчиво, не допуская и мысли, что приглашаемый может не приехать к нему. «Я обязательно *на аркане* притащу Вас к себе», — писал он беллетристу Щеглову. Большинство его приглашений были и вправду арканами, такая чувствовалась в них настойчиво неотразимая воля.

«*Ненавижу* Вас за то, что Ваш успех мешает Вам приехать ко мне», — писал он одному из приятелей.

И другому:

«Если не приедете, то поступите так *гнузно*, что никаких мук ада не хватит, чтобы наказать Вас».

И в третьем письме спрашивал Лику Мизинову:

«Какие муки мы должны будем придумать для Вас, если Вы к нам не приедете?»

И угрожал ей дьявольскими пытками — кипятком и раскаленным железом.

И писал сестре об одной из своих сумских знакомых:

«Если она не приедет, то я подожгу ее мельницу».

Эта чрезмерная энергия его приглашений и просьб часто тратилась им почти без разбору. Всякого он звал к себе так, словно тот был до смерти нужен ему, хотя бы это был утомительно шумный Гиляровский или мелкотравчатый, вечно уязвленный Ежов.

Напрасно мы перебираем в уме имена старых и новых писателей — ни одного мы не можем припомнить, наделенного таким размашистым и щедрым радушием. Казалось бы, оно гораздо более пристало писателям-барам, владельцам помещичьих гнезд, чем этому внуку крестьянина, сыну убогого лавочника, но ни одна столбовая усадьба и за десять лет не видала под своими древними липами такого нашествия разнообразных гостей, какое было повседневным явлением в «обшарпанном и оборванном» Мелихове.

II

Страстная любовь к многолюдству сохранилась у Чехова до конца его дней. Уже в последней стадии чахотки, когда, «полуразрушенный, полужилец могилы», он приехал на короткое время в Москву, к нему на квартиру стало стекаться так много народу, что с утра до ночи у него не было минуты свободной. «У него непременно в течение дня кто-нибудь бывал», — вспоминает Вл. Ив. Немирович-Данченко и тут же отмечает невероятную странность: «Это его почти не утомляло, во всяком случае, он охотно мирился со своим утомлением».

Если даже тогда, когда туберкулез окончательно подточил его силы, он «почти не утомлялся» от этой нескончаемой вереницы гостей, которые, сменяя друг друга, каждый день с утра до вечера приходили к нему со своими докуками, то что же сказать о его юных годах, когда он с жадностью нестерпимого голода

набрасывался на новых и новых людей, обнаруживая при этом такую общительность, какой, кажется, не бывало ни у одного человека.

Необыкновенно скорый на знакомства и дружбы, он в первые же годы своей жизни в Москве перезнакомился буквально со всею Москвою, со всеми слоями московского общества, а заодно изучил и Бабкино, и Чикино, и Воскресенск, и Звенигород и с гигантским аппетитом глотал все впечатления окружающей жизни.

И поэтому в молодых его письмах мы постоянно читаем:

«Был сейчас на скачках...», «Ел, спал и пил с офицерней...», «Хожу в гости к монахам...», «Уеду на стеклянный завод...», «Буду все лето кружиться по Украине и на манер Ноздрева ездить по ярмаркам...», «Пил и пел с двумя оперными басами...», «Бываю в камере мирового судьи...», «Был в поганом трактире, где видел, как в битком набитой бильярдной два жулика отлично играли в бильярд...», «Был шафером у одного доктора...», «Богемский... ухаживает слегка за Ядёнкой, бывает у Людмилочки... Левитан закружился в вихре, Ольга жалеет, что не вышла за Матвея, и т. д. Нелли приехала и голодает. У баронессы родилось дитё...»

Без этой его феноменальной общительности, без этой постоянной охоты якшаться с любым человеком, без этого жгучего его интереса к биографиям, нравам, разговорам, профессиям сотен и тысяч людей он, конечно, никогда не создал бы той грандиозной энциклопедии русского быта восьмидесятых и девяностых годов, которая называется мелкими рассказами Чехова.

Если бы из всех этих мелких рассказов, из много-томного собрания его сочинений вдруг каким-нибудь

чудом на московскую улицу хлынули все люди, изображенные там, все эти полицейские, акушерки, актеры, портные, арестанты, повара, богомолки, педагоги, помещики, архиереи, циркачи (или, как они тогда назывались, циркисты), чиновники всех рангов и ведомств, крестьяне северных и южных губерний, генералы, банщики, инженеры, конокрады, монастырские служки, купцы, певчие, солдаты, свахи, фортепьянные настройщики, пожарные, судебные следователи, дьяконы, профессора, пастухи, адвокаты, произошла бы ужасная свалка, ибо столь густого многолюдства не могла бы вместить и самая широкая площадь. Другие книги — например, Гончарова — рядом с чеховскими кажутся буквально пустынями, так мало обитателей приходится в них на каждую сотню страниц.

Не верится, что все эти толпы людей, кишачие в чеховских книгах, созданы одним человеком, что только два глаза, а не тысяча глаз с такою нечеловеческой зоркостью подсмотрели, запомнили и запечатали навек все это множество жестов, походок, улыбок, физиономий, одежд и что не тысяча сердец, а всего лишь одно вместило в себе боли и радости этой громады людей.

И как весело ему было с людьми! С теми, кого он любил. А полюбить ему было нетрудно, так как, хотя он был человек беспощадно насмешливый и каждого, казалось бы, видел насквозь, он при первом знакомстве с людьми почти всегда относился к ним с полной доверчивостью, и так неистощима была его душевная щедрость, что многих людей он был готов наделять богатствами своей собственной личности. И потому в его письмах мы так часто читаем:

«Славный малый», «душа-человек», «великолепный парень», «симпатичный малый и прекрасный писатель», «милый человечина, теплый», «семья вели-

колепная, теплая, и я к ней сильно привязался», «чуждое, в высшей степени доброе и кроткое создание», «она так же хороша, как и ее братья, которые положительно очаровали меня», «человечина хороший и не без таланта», «такая симпатичная женщина, каких мало». И т. д.

Казалось бы, что такое хозяева дачи, которую ты в качестве дачника снимаешь у них на короткие летние месяцы? Проходит лето, ты возвращаешься в город и забываешь о них навсегда. Но стоило Чехову снять дачу на юге у неведомых ему Линтваревых, и он сразу уверовал, что все они — а их было шестеро — очень милые люди, и на многие годы включил всю семью в круг своих близких друзей или, по его выражению, «зажег неугасимую лампаду» перед этой семьей.

И то же с семьей Киселевых, у которых он еще раньше три лета подряд снимал подмосковную дачу. Он сдружился не только с ними, но с их детьми, с их гостями и родственниками.

И так же дружески сходилась он почти со всеми редакторами, у которых ему случалось печататься, даже с Вуколом Лавровым и Саблиным, не говоря уж об Алексее Суворине.

И до такой степени он был артельный, хоровой человек, что даже писать он мечтал не в одиночку, а вместе с другими и готов был приглашать к себе в соавторы самых неподходящих людей.

«Слушайте, Короленко... Будем вместе работать. Напишем драму. В четырех действиях. В две недели».

Хотя Короленко никогда никаких драм не писал и к театру не имел никакого отношения.

И Билибину:

«Давайте вместе напишем водевиль в 2-х действиях! Придумайте 1-е действие, а я — 2-е... Гонорар пополам».

И Суворину:

«Давайте напишем трагедию „Олоферн“ на мотив оперы „Юдифь“, где заставим Юдифь влюбиться в Олоферна... Сюжетов много. Можно „Соломона“ написать, можно взять Наполеона III и Евгению или Наполеона I на Эльбе».

И ему же через несколько лет:

«Давайте напишем два-три рассказа... Вы — начало, а я — конец».

И даже с Гольцевым, профессором-юристом, совершенно не пригодным для изящной словесности, он не прочь засесть за писание драмы, «которую, пожалуй, и написали бы, коли тебе хочется. Мне хочется. Подумай-ка».

Это желание великого мастера дружески сотрудничать с любимыми, даже самыми малыми авторами было у него непритворно, так как при первой возможности он охотно принимался за такое сотрудничество.

Щепкина-Куперник вспоминает:

«Как-то Антон Павлович затеял писать со мной одноактную пьесу и написал для нее длинный первый монолог».

А когда А. С. Суворин принял было предложение Чехова и согласился на совместное писание драмы, Чехов со своей обычной энергией, что называется засучив рукава, тотчас же взялся за это дело и детально разработал в длиннейшем письме все десять характеров будущей пьесы, и не его вина, если вскоре это дело распалось.

И путешествовать любил он в компании. В Иран он собирался вместе с сыном Суворина, в Африку — с Максимом Ковалевским, на Волгу — с Потапенко, в донецкие степи — с Плещеевым.

«Насчет поездки в Бабкино на Масленной неделе вся моя шайка разбойников решила так: ехать!» — писал он Алексею Киселеву.

«Я часто думаю: не собраться ли нам большой компанией и не поехать ли за границу? Это было бы дешево и весело», — писал он Линтваревой в 1894 году.

Работать с людьми и скитаться с людьми, но больше всего он любил веселиться с людьми, озорничать, хохотать вместе с ними. «Ездили мы на четверике, в дедовской, очень удобной коляске, — пишет он Плещееву из Сум в конце восьмидесятых годов. — Смеху, приключений, недоразумений, остановок, встреч по дороге было много множество... Ах, если бы Вы были с нами и видели нашего сердитого ямщика Романа, на которого нельзя было глядеть без смеха... Ели мы и пили каждые полчаса... смеялись до колик... После самой сердечной, радостной встречи поднялся общий беспричинный хохот, и этот хохот повторялся потом аккуратно каждый вечер».

Хохот был совсем не беспричинный, потому что его причиной был Чехов.

Этого молодого, бессмертно веселого хохота Чехову было отпущено столько, что, чуть только у него среди его тяжелых трудов выдавался хотя бы час передышки, веселье так и било из него, и невозможно было не хохотать вместе с ним. То нарядится в бухарский халат, вымажет себе лицо сажей, наденет чалму и разыгрывает из себя «бедуина», то загримирует себя прокурором, облачится в шитый золотом великолепный мундир, принадлежащий хозяину дачи, и произносит обвинительную речь против друга своего Левитана, речь, которая, по словам его брата, «всех заставляла умирать от хохота». Чехов обвинял Левитана и в уклонении от воинской повинности, и в тайном винокурении, и в содержании тайной кассы ссуд и заранее приглашал на это шутовское судилище другого своего приятеля, архитектора Шехтеля, в качестве гражданского истца.

Сунуть московскому городовому в руки тяжелый арбуз, обмотанный толстой бумагой, и сказать ему с деловито-озабоченным видом: «Бомба!.. неси в участок, да смотри осторожнее» — или уверить наивную до святости молодую писательницу, что его голуби с перьями кофейного цвета происходят от помеси голубя с кошкой, живущей в том же дворе, так как шерсть у этой кошки точно такой же окраски, или нарядить хулиганом жену Михаила и написать ей медицинское свидетельство, что она «больна чревовещанием», — к этой детской проказливости его тянуло всегда.

Разбил себе голову пьяный поэт. Чехов приехал лечить его и прихватил с собою одного молодого писателя. «Кто это с вами?» — «Фельдшер». — «Дать ему за труды?» — «Непременно». — «Сколько?» — «Копеек тридцать».

И молодому писателю с благодарностью вручили три гривенника.

В этом чисто детском тяготении ко всяким озорным мистификациям, арлекинадам, экспромтам Чехов был очень похож на другого великого хохотуна и жизнелюбца — на Диккенса.

Приехал Чехов как-то с артистом Свободным и с компанией других приятелей в маленький городишко Ахтырку. Остановились в гостинице. Свободин, талантливый характерный актер, стал разыгрывать важного графа, заставляя трепетать всю гостиницу, а Чехов взял на себя роль его лакея и создал такой художественно убедительный образ балованного графского холуя, что люди, бывшие свидетелями этой игры, и через сорок лет, вспоминая о ней, не могли удержаться от смеха.

Или едет он в поезде с матерью, сестрой и виолончелистом Семашко. В вагоне вместе с ними находится популярный московский шекспировед Стороженко.

Так как сестра Чехова была еще недавно курсисткой, она благоговела перед своим любимым профессором. «Маша, — рассказывает Чехов в письме, — во всю дорогу делала вид, что незнакома со мной и с Семашко... Чтобы наказать такую мелочность, я громко рассказывал о том, как я служил поваром у графини Келлер и какие у меня были добрые господа; прежде чем выпить, я всякий раз кланялся матери и желал ей поскорее найти в Москве хорошее место (прислуги. — К. Ч.). Семашко изображал камердинера».

В эти импровизации Чехов вовлекал и других. Когда ему приходила охота представить зубного врача, его брат Михаил надевал женское платье, превращался в смазливую горничную, открывавшую дверь пациентам, а в качестве пациентов выступали пять или шесть человек из обитателей Бабкина. До той поры эти люди, должно быть, и не подозревали в себе артистических склонностей, но Чехов заразил их своим импровизаторским творчеством, и они охотно примкнули к игре. Когда в числе его пациентов бывал его брат Александр, Чехов совал ему в рот огромные щипцы для углей, и начиналась «хирургия», при виде которой, по словам Сергеенко, присутствующие покатывались от смеха. «Но вот венец всего. Наука торжествует. Антон вытаскивает изо рта ревущего благим матом „пациента“ огромный больной зуб (пробку) и показывает его публике».

Так и видишь его в это время: высокий, изящный, гибкий, очень подвижной, со светло-кариими веселыми глазами, магнетически влекущий к себе всех.

В играх он не любил быть солистом. Все его затеи всегда носили, так сказать, компанейский характер:

«Мы устроили себе рулетку... Доход рулетки идет на общее дело — устройство пикников. Я крупье».

«Был у меня костюмированный бал».

«Затеваем на праздниках олимпийские игры в нашем дворе и, между прочим, хотим играть в бабки».

Даже усталых и старых приобщал он к своей неугомонной веселости. Долго не мог опомниться старик Григорович, нечаянно попавший в самый разгар кутерьмы, которую вместе со своими гостями устроил Чехов у себя на московской квартире. В эту молодую кутерьму в конце концов втянулся и он, автор «Антонна Горемыки», седой патриарх, а потом вспоминал о ней с комическим ужасом, воздевая руки к небесам:

«Если бы вы только знали, что творилось у Чеховых! Вакханалия, настоящая вакханалия!»

А его ранние письма к родным и друзьям... Читая их, смеешься даже неудачным островам, ибо они так и пышут веселостью. Возвращает он, например, приятелю взятый у того на время сюртук:

«Желаю, чтобы он у тебя женился и народил множество маленьких сюртучков».

Какой-то пасквильянт написал стишки, где назвал его ветеринарным врачом, «хотя, — сообщает Чехов, — я никогда не имел чести лечить автора».

И как это часто бывает в счастливых, молодых, сплоченных семьях, в полковых и школьных коллективах, Чехов, разговаривая с близкими, заменял обычные их имена фамильярными кличками. Многие из этих причудливых кличек прилипали к людям на всю жизнь, но он неистощимо придумывал новые, и нередко данное им прозвище оказывалось гораздо точнее, чем то случайное имя, которое у человека было в паспорте.

Лику Мизинову он звал Канталупа, брата своего Александра — Филинюга, детородный чиновник; брата Николая — Мордокривенко, а всего чаще — Косой или Кокоша.

Иван Щеглов был у него герцог Альба, или Жан, или милая Жанушка. Сережа Киселев, гимназист, назывался попеременно то Грипп, то Коклюш.

Музыкант Мариан Ромуальдович был превращен им в Мармелада Фортепяновича.

Себя самого Чехов величал в своих письмах то Гунянди Янос, то Бокль, то граф Черномордик, то Повсекакий, то Аркадий Тарантулов, то Дон Антонио, то академик Тоту, то Шиллер Шекспирович Гёте.

Клички раздавались родным и приятелям, так сказать, на основе взаимности. И например, его брат Александр, в свою очередь, называл его Гейним, Стамеска, Тридцать три моментально. Для Щеглова он был Антуан и Потемкин, для Яворской — адмирал Авелан.

Здесь дело не столько в кличках, сколько в той «вакханалии» веселости, которая их порождала.

III

И в тогдашних писаниях Чехова та же вакханалия веселости. «Из меня водевильные сюжеты прут, как нефть из бакинских недр!» — восклицал Антон Павлович в конце восьмидесятых годов.

Изобилие кипящих в нем творческих сил поражало всякого, с кем он в то время встречался. «Образы теснились к нему веселой и легкой гурьбой, — вспоминал Владимир Короленко. — Казалось, из глаз его струится неисчерпаемый источник остроумия и непосредственного веселья».

«— Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы? — сказал он Короленко, когда тот только что познакомился с ним. — Вот.

Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, — это оказалась пепельница, — поставил ее передо мною и сказал:

— Хотите — завтра будет рассказ... Заглавие „Пепельница“».

И Короленко показалось, что над пепельницей «начинают уже роиться какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм», но уже оживленные юмором.

Всех изумляла тогда именно эта свобода и легкость, с которой бьющая в нем через край могучая энергия творчества воплощалась в несметное множество бесконечно разнообразных рассказов. С самой ранней юности, лет десять-двенадцать подряд, Чехов работал, как фабрика, не зная ни минуты простоя, выбрасывая горы продукции, и, хотя среди этой продукции на первых порах было немалое количество брака, в скором времени Чехов, нисколько не снижая своих темпов, стал выпускать, как будто по конвейеру, бесперебойно, один за другим, целые десятки шедевров, написанных с такой виртуозностью, что иному даже крупному таланту, например Василию Слепцову, понадобилось бы на каждый из них никак не меньше полугода работы. А он создавал их без натуги, чуть ли не ежедневно, один за другим: и «Орден», и «Хирургию», и «Канитель», и «Лошадиную фамилию», и «Дочь Альбиона», и «Шило в мешке», и «Живую хронологию», и «Аптекарьшу», и «Женское счастье», и мириады других, и в каждом из них уже восьмое десятилетие живет его неумолкающий хохот.

«Чехова, тоже приложение, прочитал две книжки, хохотал как черт, — писал Максиму Горькому какой-то крестьянин. — Матери с женой читал — то же самое: разливаются, хохочут. Вот — и смешно, а мило!»

Это было очень давно. А уже в наше время, в Москве, студентки первого курса медвуза, собираясь на ночное дежурство, взяли у меня какой-то чеховский том и всю ночь прохохотали до икоты. «Дежурство кончилось, пора расходиться, а мы все еще читаем и смеемся как дуры».